



Сыну моему посвящаю

Глава I

Вполутёмной тесной комнате, на полу, под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смиренно положенных на грудь, тоже кривые; его весёлые глаза плотно прикрыты чёрными кружками медных монет, доброе лицо тёмно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами.

Мать, полуголая, в красной юбке, стоит на коленях, зачёсывая длинные, мягкие волосы отца со лба на затылок чёрной гребёнкой, которой я любил перепиливать корки арбузов; мать непрерывно говорит что-то густым, хрипящим голосом, её серые глаза опухли и словно тают, стекая крупными каплями слёз.

Меня держит за руку бабушка — круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом; она вся чёрная, мягкая и удивительно интересная; она тоже плачет, как-то особенно и хорошо подпевая матери, дрожит вся и дёргает меня, толкая к отцу; я упираюсь, прячусь за неё; мне боязно и неловко.

Я никогда ещё не видал, чтобы большие плакали, и не понимал слов, неоднократно сказанных бабушкой:

— Попрощайся с тятей-то, никогда уж не увидишь его, помер он, голубчик, не в срок, не в свой час...

Я был тяжело болен, — только что встал на ноги; во время болезни — я это хорошо помню — отец весело возился со мною, потом он вдруг исчез, и его заменила бабушка, странный человек.

— Ты откуда пришла? — спросил я её.

Она ответила:

— Сверху, из Нижнего, да не пришла, а приехала! По воде-то не ходят, шиш!

Это было смешно и непонятно: наверху, в доме, жили бородатые, крашенные персияне, а в подвале старый, жёлтый калмык продавал овчины. По лестнице можно съехать верхом на перилах или, когда упадёшь, скатиться кувырком, — это я знал хорошо. И при чём тут вода? Всё неверно и забавно спутано.

— А отчего я шиш?

— Оттого, что шумишь, — сказала она, тоже смеясь.

Она говорила ласково, весело, складно. Я с первого же дня подружился с нею, и теперь мне хочется, чтобы она скорее ушла со мною из этой комнаты.

Меня подавляет мать; её слёзы и вой зажгли во мне новое, тревожное чувство. Я впервые вижу её такую, — она была всег-

да строгая, говорила мало; она чистая, гладкая и большая, как лошадь; у неё жёсткое тело и страшно сильные руки. А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрёпана, всё на ней разорвалось; волосы, лежавшие на голове аккуратно, большою светлой шапкой, рассыпались по голому плечу, упали на лицо, а половина их, заплетённая в косу, болтается, задевая уснувшее отцово лицо. Я уже давно стою в комнате, но она ни разу не взглянула на меня, — причёсывает отца и всё рычит, захлёбываясь слезами.

В дверь заглядывают чёрные мужики и солдат-будочник¹. Он сердито кричит:

— Скорее убирайте!

Окно занавешено тёмной шалью; она вздувается, как парус. Однажды отец катал меня на лодке с парусом. Вдруг ударил гром. Отец засмеялся, крепко сжал меня коленями и крикнул:

— Ничего, не бойся, Лук!

Вдруг мать тяжело взметнулась с пола, тотчас снова осела, опрокинулась на спину, разметав волосы по полу; её слепое, белое лицо посинело, и, оскалив зубы, как отец, она сказала страшным голосом:

— Дверь затворите... Алексея — вон!

Оттолкнув меня, бабушка бросилась к двери, закричала:

¹ Б у д о ч н и к — полицейский сторож, стоящий на посту у караульной будки.

— Родимые, не бойтесь, не троньте, уйдите Христа ради! Это — не холера, роды пришли, помилуйте, батюшки!

Я спрятался в тёмный угол за сундук и оттуда смотрел, как мать извивается по полу, охая и скрипя зубами, а бабушка, ползая вокруг, говорит ласково и радостно:

— Во имя отца и сына! Потерпи, Варюша!.. Пресвятая мати божия, заступница...

Мне страшно; они возьмётся на полу около отца, задевают его, стонут и кричат, а он неподвижен и точно смеётся. Это длилось долго — возня на полу; не однажды мать вставала на ноги и снова падала; бабушка выкатывалась из комнаты, как большой чёрный мягкий шар; потом вдруг во тьме закричал ребёнок.

— Слава тебе, Господи! — сказала бабушка. — Мальчик!

И зажгла свечу.

Я, должно быть, заснул в углу, — ничего не помню больше.

Второй оттиск в памяти моей — дождливый день, пустынный угол кладбища; я стою на скользком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца; на дне ямы много воды и есть лягушки, — две уже забрались на жёлтую крышку гроба.

У могилы — я, бабушка, мокрый будочник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает тёплый дождь, мелкий, как бисер.

— Зарывай, — сказал будочник, отходя прочь.

Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу, захлюпала вода; спрыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы, комья земли сшибали их на дно.

— Отойди, Лёня, — сказала бабушка, взяв меня за плечо; я выскользнул из-под её руки, не хотелось уходить.

— Экой ты, Господи, — пожаловалась бабушка, не то на меня, не то на бога, и долго стояла молча, опустив голову; уже могила сравнялась с землёй, а она всё ещё стоит.

Мужики гулко шлёпали лопатами по земле; налетел ветер и прогнал, унёс дождь. Бабушка взяла меня за руку и повела к далёкой церкви, среди множества тёмных крестов.

— Ты что не поплачешь? — спросила она, когда вышла за ограду. — Поплакал бы!

— Не хочется, — сказал я.

— Ну, не хочется, так и не надо, — тихонько выговорила она.

Всё это было удивительно: я плакал редко и только от обиды, не от боли; отец всегда смеялся над моими слезами, а мать кричала:

— Не смей плакать!

Потом мы ехали по широкой, очень грязной улице на дрожках, среди тёмно-красных домов; я спросил бабушку:

— А лягушки не вылезут?

— Нет, уж не вылезут, — ответила она. — Бог с ними!

Ни отец, ни мать не произносили так часто и родственно имя божие.

Через несколько дней я, бабушка и мать ехали на пароходе, в маленькой каюте; новорождённый брат мой Максим умер и лежал на столе в углу, завёрнутый в белое, спелёнатый красною тесьмой.

Примостившись на узлах и сундуках, я смотрю в окно, выпуклое и круглое, точно глаз коня; за мокрым стеклом бесконечно льётся мутная, пенная вода. Порою она, вскидываясь, лижет стекло. Я невольно прыгаю на пол.

— Не бойся, — говорит бабушка и, легко приподняв меня мягкими руками, снова ставит на узлы.

Над водою — серый, мокрый туман; далеко где-то является тёмная земля и снова исчезает в тумане и воде. Всё вокруг трясётся. Только мать, закинув руки за голову, стоит, прислонясь к стене, твёрдо и неподвижно. Лицо у неё тёмное, железное и слепое, глаза крепко закрыты, она всё время молчит, и вся какая-то другая, новая, даже платье на ней незнакомо мне.

Бабушка не однажды говорила ей тихо:
— Варя, ты бы поела чего маленько, а?

Она молчит и неподвижна.

Бабушка говорит со мною шёпотом, а с матерью — громче, но как-то осторожно, робко

и очень мало. Мне кажется, что она боится матери. Это понятно мне и очень сближает с бабушкой.

— Саратов, — неожиданно громко и сердито сказала мать. — Где же матрос?

Вот и слова у неё странные, чужие: Саратов, матрос.

Вошёл широкий седой человек, одетый в синее, принёс маленький ящик. Бабушка взяла его и стала укладывать тело брата, уложила и понесла к двери на вытянутых руках, но толстая — она могла пройти в узенькую дверь каюты только боком и смешно замялась перед нею.

— Эх, мамаша, — крикнула мать, отняла у неё гроб, и обе они исчезли, а я остался в каюте, разглядывая синего мужика.

— Что, отошёл братишка-то? — сказал он, наклонясь ко мне.

— Ты кто?

— Матрос.

— А Саратов — кто?

— Город. Гляди в окно, вот он!

За окном двигалась земля; тёмная, обрывистая, она курилась туманом, напоминая большой кусок хлеба, только что отрезанный от каравая.

— А куда бабушка ушла?

— Внука хоронить.

— Его в землю зароят?

— А как же? Зароят.

Я рассказал матросу, как зарыли живых лягушек, хороня отца. Он поднял меня на руки, тесно прижал к себе и поцеловал.

— Эх, брат, ничего ты ещё не понимаешь! — сказал он. — Лягушек жалеть не надо, господь с ними! Мать пожалей, — вон как её горе ушибло!

Над нами загудело, завывало. Я уже знал, что это — пароход, и не испугался, а матрос торопливо опустил меня на пол и бросился вон, говоря:

— Надо бежать!

И мне тоже захотелось убежать. Я вышел за дверь. В полутёмной узкой щели было пусто. Недалеко от двери блестела медь на ступенях лестницы. Взглянув наверх, я увидел людей с котомками и узлами в руках. Было ясно, что все уходят с парохода, — значит, и мне нужно уходить.

Но когда вместе с толпой мужиков я очутился у борта парохода, перед мостками на берег, все стали кричать на меня:

— Это чей? Чей ты?

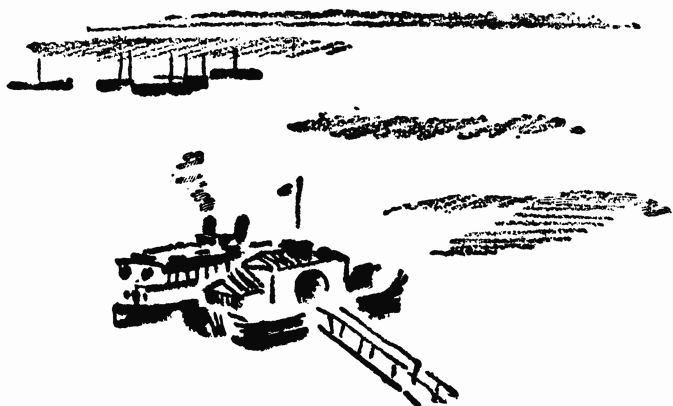
— Не знаю.

Меня долго толкали, встряхивали, щупали. Наконец явился седой матрос и схватил меня, объяснив:

— Это астраханский, из каюты...

Бегом он снёс меня в каюту, сунул на узлы и ушёл, грозя пальцем:

— Я тебе задам!



Шум над головою становился всё тише, пароход уже не дрожал и не бухал по воде. Окно каюты загородила какая-то мокрая стена; стало темно, душно, узлы точно распухли, стесняя меня, и всё было нехорошо. Может быть, меня так и оставят навсегда одного в пустом пароходе?

Подошёл к двери. Она не отворяется, медную ручку её нельзя повернуть. Взяв бутылку с молоком, я со всею силой ударил по ручке. Бутылка разбилась, молоко облило мне ноги, натекло в сапоги.

Огорчённый неудачей, я лёг на узлы, заплакал тихонько и, в слезах, уснул.

А когда проснулся, пароход снова бухал и дрожал, окно каюты горело, как солнце. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашёптывая. Волос у неё было странно много, они густо покрывали ей плечи, грудь, колени и лежали на полу,

чёрные, отливая синим. Приподнимая их с пола одною рукою и держа на весу, она с трудом вводила в толстые пряди деревянный редкозубый гребень; губы её кривились, тёмные глаза сверкали сердито, а лицо в этой массе волос стало маленьким и смешным.

Сегодня она казалась злою, но когда я спросил, отчего у неё такие длинные волосы, она сказала вчерашним тёплым и мягким голосом:

— Видно, в наказание Господь дал, — расчеши-ка вот их, окаянные! Смолоду я гривой этой хвасталась, на старости клянусь! А ты спи! Ещё рано, — солнышко чуть только с ночи поднялось...

— Не хочу уж спать!

— Ну, ино¹ не спи, — тотчас согласилась она, заплетая косу и поглядывая на диван, где вверх лицом, вытянувшись струною, лежала мать. — Как это ты вчера бутыль-то раскокал? Тихонько говори!

Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, её тёмные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые, крепкие зубы, и, не смотря на множество морщин в тёмной коже щёк, всё лицо казалось молодым и светлым.

¹ Ино — тогда, пожалуй (*устар.*).

Очень портил его этот рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из чёрной табакерки, украшенной серебром. Вся она — тёмная, но светилась изнутри — через глаза — неугасимым, весёлым и тёплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка, — она и мягкая такая же, как этот ласковый зверь.

До неё как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала всё вокруг меня в непрерывную нить, сплела всё в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком, — это её бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни.

Сорок лет назад пароходы плавали медленно; мы ехали до Нижнего очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насыщения красотой.

Установилась хорошая погода; с утра до вечера я с бабушкой на палубе, под ясным небом, между позолоченных осенью, шелками шитых берегов Волги. Не торопясь, лениво и гулко бухая плицами по серовато-синей воде, тянется вверх по течению светло-рыжий пароход, с баржой¹ на длинном буксире.

¹ Баржа́ — широкое плоскодонное судно для перевозки грузов.

Баржа серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывёт над Волгой солнце; каждый час всё вокруг новое, всё меняется; зелёные горы — как пышные складки на богатой одежде земли; по берегам стоят города и сёла, точно пряничные издали; золотой осенний лист плывёт по воде.

— Ты гляди, как хорошо-то! — ежеминутно говорит бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у неё радостно расширены.

Часто она, заглядевшись на берег, забывала обо мне: стоит у борта, сложив руки на груди, улыбается и молчит, а на глазах слёзы. Я дёргаю её за тёмную, с набойкой цветами, юбку.

— Ась? — встрепенётся она. — А я будто задремала да сон вижу.

— А о чём плачешь?

— Это, милый, от радости да от старости, — говорит она, улыбаясь. — Я ведь уж старая, за шестой десяток лета-вёсны мои перекинулись-пошли.

И, понюхав табаку, начинает рассказывать мне какие-то диковинные истории о добрых разбойниках, о святых людях, о всяком зверье и нечистой силе.

Сказки она рассказывает тихо, таинственно, наклонясь к моему лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, точно вливая в сердце моё силу, приподнимающую меня. Говорит, точно поёт, и чем дальше, тем склад-



ней звучат слова. Слушать её невыразимо приятно. Я слушаю и прошу:

— Ещё!

— А ещё вот как было: сидит в подпечке старичок домовой, занозил он себе лапу лапшой, качается, хныкает: «Ой, мышеньки, больно, ой, мышата, не стерплю!»

Подняв ногу, она хватается за неё руками, качает её на весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно.

Вокруг стоят матросы — бородатые, ласковые мужики, — слушают, смеются, хвалят её и тоже просят:

— А ну, бабушка, расскажи ещё чего!

Потом говорят:

— Айда ужинать с нами!

За ужином они угощают её водкой, меня — арбузами, дыней; это делается скрытно: на пароходе едет человек, который запрещает есть фрукты, отнимает их и выбрасывает в реку. Он одет похоже на будочника — с медными пуговицами — и всегда пьяный; люди прячутся от него.

Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас. Она всё молчит, мать. Её большое, стройное тело, тёмное, железное лицо, тяжёлая корона заплетённых в косы светлых волос — вся она, мощная и твёрдая, вспоминается мне как бы сквозь туман или прозрачное облако; из него отдалённо и неприветливо смотрят прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки.

Однажды она строго сказала:

— Смеются люди над вами, мамаша!

— А господь с ними! — беззаботно ответила бабушка. — А пускай смеются, на доброе им здоровье!

Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дёргая за руку, она толкала меня к борту и кричала:

— Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка, Нижний-то! Вот он какой, богов! Церквигте, гляди-ка ты, летят будто!

И просила мать, чуть не плача:

— Варюша, погляди, чай, а? Поди, забыла ведь! Порадуйся!

Мать хмуро улыбалась.

Когда пароход остановился против красивого города, среди реки, тесно загромождённой судами, ощетилившейся сотнями острых мачт, к борту его подплыла большая лодка со множеством людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шёл небольшой сухонький

старичок, в чёрном длинном одеянии, с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелёными глазками.

— Папаша! — густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него, а он, хватая её за голову, быстро глядя щёки её маленькими, красными руками, кричал, взвизгивая:

— Что-о, дура? Ага-а! То-то вот... Эх, вы-и...

Бабушка обнимала и целовала как-то сразу всех, вертясь, как винт; она толкала меня к людям и говорила торопливо:

— Ну, скорее! Это — дядя Михайло, это — Яков... Тётка Наталья, это — братья, оба Саши, сестра Катерина, это всё наше племя, вот сколько!

Дедушка сказал ей:

— Здорова ли, мать?

Они троекратно поцеловались.

Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову:

— Ты чей таков будешь?

— Астраханский, из каюты...

— Чего он говорит? — обратился дед к матери и, не дождавшись ответа, отодвинул меня, сказав:

— Скулы-те отцовы... Слезайте в лодку!

Съехали на берег и толпой пошли в гору, по съезду, мощённому крупным булыжником, между двух высоких откосов, покрытых жухлой, примятой травой.

Дед с матерью шли впереди всех. Он был ростом под руку ей, шагал мелко и быстро, а

она, глядя на него сверху вниз, точно по воздуху плыла. За ними молча двигались дядя: чёрный гладковолосый Михаил, сухой, как дед, светлый и кудрявый Яков, какие-то толстые женщины в ярких платьях и человек шесть детей, все старше меня и все тихие. Я шёл с бабушкой и маленькой тёткой Натальей. Бледная, голубоглазая, с огромным животом, она часто останавливалась и, задыхаясь, шептала:

— Ой, не могу!

— На што они тревожили тебя? — сердито ворчала бабушка. — Эко неумное племя!

И взрослые, и дети — все не понравились мне, я чувствовал себя чужим среди них, даже и бабушка как-то померкла, отдалилась.

Особенно же не понравился мне дед; я сразу почуял в нём врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое любопытство.

Дошли до конца съезда. На самом верху его, прислонясь к правому откосу и начиная собою улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязно-розовой краской, с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами. С улицы он показался мне большим, но внутри его, в маленьких, полутёмных комнатах, было тесно; везде, как на пароходе перед пристанью, суетились сердитые люди, стаяй вороватых воробьёв металась ребятишки, и всюду стоял едкий, незнакомый запах.

Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный: весь завешан огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водою. В ней тоже мокли тряпицы. В углу, в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова:

— Сандал¹ — фуксин² — купорос³...

Глава II

Началась и потекла со страшной быстротой густая, пёстрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что всё было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть, — слишком обильна жестокостью тёмная жизнь «неумного племени».

Но правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил — да и по сей день живёт — простой русский человек.

Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми; она отрав-

¹ С а н д а л — краситель, получаемый из древесины сандалового дерева.

² Ф у к с и н — краситель ярко-красного цвета.

³ К у п о р о с — название некоторых солей серной кислоты.

ляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда её братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери ещё более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла замуж «самокруткой», против его воли. Дядья считали, что это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому — за Окой, в слободе Кунавине.

Уже вскоре после приезда в кухне, во время обеда, вспыхнула ссора: дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки, а дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко — петухом — закричал:

— По миру пуцу!

Болезненно искривив лицо, бабушка говорила:

— Отдай им всё, отец, — спокойней тебе будет, отдай!

— Цыц, потатчица!¹ — кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что, маленький такой, он может кричать столь оглушительно.

¹ Потатчица — та, кто потакает, потворствует кому-либо.

Мать встала из-за стола и, не торопясь отойдя к окну, повернулась ко всем спиною.

Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу; тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатались по полу, хрипя, охая, ругаясь.

Заплакали дети; отчаянно закричала беременная тётка Наталья; моя мать потащила её куда-то, взяв в охапку; весёлая, рябая нянька Евгенья выгоняла из кухни детей; падали стулья; молодой широкоплечий подмастерье Цыганок сел верхом на спину дяди Михайла, а мастер Григорий Иванович, плешивый, бородатый человек в тёмных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем.

Вытянув шею, дядя тёрся редкой чёрной бородою по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал:

— Братья, а! Родная кровь! Эх, вы-и...

Я ещё в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водою из медного рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова; он плакал и топал ногами, а она говорила тяжёлым голосом:

— Окаянные, дикое племя, опомнитесь!

Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей:

— Что, ведьма, народила зверья?

Когда дядя Яков ушёл, бабушка сунулась в угол, потрясаясь воя:

— Пресвятая мати божия, верни разум детям моим!

Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где всё было опрокинуто, пролито, тихо проговорил:

— Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут, чего доброго...

— Полно, бог с тобой! Сними-ка рубаху-то, я зашью...

И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб; он же — маленький против неё — ткнулся лицом в плечо ей.

— Надо, видно, делиться, мать...

— Надо, отец, надо!

Они говорили долго; сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал:

— Знаю я тебя, ты их больше любишь! А Мишка твой — езуит¹, а Яшка — фармазон!² И пропьют они добро моё, промотают...

Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг; загремев по ступеням влаза, он шлёпнулся в лохань с помоями. Дед впрыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые.

— Кто тебя посадил на печь? Мать?

¹ Езуит — иезуит (*искаж.*), здесь: хитрый, двуличный человек.

² Фармазон — франкмасон (*искаж.*), здесь: жулик, аферист.

— Я сам.

— Врёшь.

— Нет, сам. Я испугался.

Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб.

— Весь в отца! Пошёл вон...

Я был рад убежать из кухни.

Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зоркими зелёными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой; он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого.

— Эх, вы-и! — часто восклицал он; долгий звук «и-и» всегда вызывал у меня скучное, зябкое чувство.

В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядья и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками, окрашенными сандалом, обожжёнными купоросом, с повязанными тесёмкой волосами, все похожие на тёмные иконы в углу кухни, — в этот опасный час дед садился против меня и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со мною чаще, чем с ними. Весь он был складный, точёный, острый. Его атласный, шитый шелками, глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубаха измята, на коленях штанов красовались большие заплаты, а всё-таки он казался одетым и чище, и красивей сыновей,

носивших пиджаки, манишки¹ и шёлковые косынки на шеях.

Через несколько дней после приезда он заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви; золотые главы её были видны из окон дома.

Меня учила тихонькая, пугливая тётка Наталья, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что, мне казалось, сквозь них можно было видеть всё сзади её головы.

Я любил смотреть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не мигая; она щурилась, вертела головою и просила тихонько, почти шёпотом:

— Ну, говори, пожалуйста: «Отче наш, ѝже есі...»

И если я спрашивал: «Что такое — яко же?» — она, пугливо оглянувшись, советовала:

— Ты не спрашивай, это хуже! Просто говори за мною: «Отче наш»... Ну?

Меня беспокоило: почему спрашивать хуже? Слово «яко же» принимало скрытый смысл, и я нарочно всячески искажал его:

— «Яков же», «я в коже»...

Но бледная, словно тающая тётка терпеливо поправляла голосом, который всё прерывался у неё:

¹ М а н и ш к а — нарядная нагрудная вставка, пришитая или пристёгнутая к мужской сорочке.

— Нет, ты говори просто: «яко же»...

Но и сама она, и все её слова были не просты. Это раздражало меня, мешая запомнить молитву.

Однажды дед спросил:

— Ну, Олёшка, чего сегодня делал? Играл! Вижу по желваку¹ на лбу. Это не велика мудрость желвак нажать! А «Отче наш» заучил?

Тётка тихонько сказала:

— У него память плохая.

Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови.

— А коли так — высечь надо!

И снова спросил меня:

— Тебя отец сёк?

Не понимая, о чём он говорит, я промолчал, а мать сказала:

— Нет, Максим не бил его, да и мне запретил.

— Это почему же?

— Говорил, битьём не выучишь.

— Дурак он был во всём, Максим этот, покойник, прости нас господи! — сердито и чётко проговорил дед.

Меня обидели его слова. Он заметил это.

— Ты что губы надул? Ишь ты...

И, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он прибавил:

— А я вот в субботу Сашку за напёрсток пороть буду.

¹ Желва́к — шишка, синяк.

— Как это пороть? — спросил я.

Все засмеялись, а дед сказал:

— Погоди, увидишь...

Притаившись, я соображал: пороть — значит расшивать платья, отданные в краску, а сечь и бить — одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек; в Астрахани будочники бьют персиян, — это я видел. Но я никогда не видал, чтоб так били маленьких, и хотя здесь дядя щёлкали своих то по лбу, то по затылку, — дети относились к этому равнодушно, только почёсывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их:

— Больно?

И всегда они храбро отвечали:

— Нет, нисколечко!

Шумную историю с напёрстком я знал. Вечерами, от чая до ужина, дядя и мастер сшивали куски окрашенной материи в одну «штуку» и пристёгивали к ней картонные ярлыки. Желая пошутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел девятилетнему племяннику накалить на огне свечи напёрсток мастера. Саша зажал напёрсток щипцами для снятия нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку, но как раз в этот момент пришёл дедушка, сел за работу и сам сунул палец в калёный напёрсток.

Помню, когда я прибежал в кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожжёнными пальцами, смешно прыгал и кричал:

— Чьё дело, басурмане?

Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял напёрсток пальцем и дул на него; мастер невозмутимо шил; тени прыгали по его огромной лысине; прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там; бабушка тёрла на тёрке сырой картофель.

— Это Сашка Яковов устроил! — вдруг сказал дядя Михаил.

— Врёшь! — крикнул Яков, выскочив из-за печи.

А где-то в углу его сын плакал и кричал:

— Папа, не верь. Он сам меня научил!

Дядья начали ругаться. Дед же сразу успокоился, приложил к пальцу тёртый картофель и молча ушёл, захватив с собой меня.

Все говорили — виноват дядя Михаил. Естественно, что за чаем я спросил — будут ли его сечь и пороть?

— Надо бы, — проворчал дед, искоса взглянув на меня.

Дядя Михаил, ударив по столу рукою, крикнул матери:

— Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну!

Мать сказала:

— Попробуй, тронь...

И все замолчали.

Она умела говорить краткие слова как-то так, точно отталкивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умалялись.

Мне было ясно, что все боятся матери; даже сам дедушка говорил с нею не так, как с другими, — тише. Это было приятно мне, и я с гордостью хвастался перед братьями:

— Моя мать — самая сильная!

Они не возражали.

Но то, что случилось в субботу, надорвало моё отношение к матери.

До субботы я тоже успел провиниться.

Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материй: берут жёлтую, мочат её в чёрной воде, и материя делается густо-синей — «кубовой»; полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым — «бордо». Просто, а — непонятно.

Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об этом Саше Яковову, серьёзному мальчику; он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но дедушка смотрел на Сашу искоса и говорил:

— Экой подхалим!

Худенький, тёмный, с выпученными, рачьими глазами, Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлёбываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то, спрятаться. Карие зрачки его были неподвижны, но, когда он возбуждался, дрожали вместе с белками.

Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился малозаметный увалень¹ Саша Михайлов, мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою кроткую мать. У него были некрасивые зубы; они высовывались изо рта и в верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его; он постоянно держал во рту пальцы, раскачивая, пытаясь выдернуть зубы заднего ряда, и покорно позволял щупать их каждому, кто желал. Но ничего более интересного я не находил в нём. В доме, битком набитом людьми, он жил одиноко, любил сидеть в полутёмных углах, а вечером у окна. С ним хорошо было молчать — сидеть у окна, тесно прижавшись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечернем небе вокруг золотых луковиц Успенского храма выются-мечутся чёрные галки, взмывают высоко вверх, падают вниз и, вдруг покрыв угасающее небо чёрною сетью, исчезают куда-то, оставив за собою пустоту. Когда смотришь на это, говорить ни о чём не хочется, и приятная скука наполняет грудь.

А Саша дяди Якова мог обо всём говорить много и солидно, как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкапа белую праздничную скатерть и окрасить её в синий цвет.

¹ Увалень — неуклюжий, неповоротливый человек.

— Белое всего легче красится, уж я знаю! — сказал он очень серьёзно.

Я вытащил тяжёлую скатерть, выбежал с нею на двор, но, когда опустил край её в чан с «кубовой», на меня налетел откуда-то Цыганок, вырвал скатерть и, отжимая её широкими лапами, крикнул брату, следившему из сеней за моею работой:

— Зови бабушку скорее!

И, зловеще качая чёрной, лохматой головою, сказал мне:

— Ну и попадёт же тебе за это!

Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня:

— Ах ты, пермяк, солёны уши! Чтоб те приподняло да шлёпнуло!

Потом стала уговаривать Цыганка:

— Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то! Уж я спрячу дело; авось обойдётся как-нибудь...

Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником:

— Мне что? Я не скажу; смотрите, Сашутка не наябедничал бы!

— Я ему семишник¹ дам, — сказала бабушка, уводя меня в дом.

В субботу, перед всенощной, кто-то привёл меня в кухню; там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сени и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох

¹ Сем и ш н и к — мелкая монетка достоинством 2 копейки.

дождя. Перед чёрным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя Цыганок; дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерил их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала:

— Ра-ад... мучитель...

Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тёр кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул:

— Простите Христа ради...

Как деревянные, стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу.

— Высеку — прощу, — сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. — Ну-ка, снимай штаны-то!..

Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки — ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни, под низким закопчённым потолком.

Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошёл к скамье. Смотреть, как он идёт, было нехорошо, у меня тоже дрожали ноги.

Но стало ещё хуже, когда он покорно лёг на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил чёрными руками ноги его у щиколоток.

— Лексей, — позвал дед, — иди ближе!.. Ну, кому говорю?.. Вот гляди, как секут... Раз!..

Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул.

— Врёшь, — сказал дед, — это не больно! А вот этак больней!

И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а брат протяжно завыл.

— Не сладко? — спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. — Не любишь? Это за напёрсток!

Когда он взмахивал рукой, в груди у меня всё поднималось вместе с нею; падала рука — и я весь точно падал.

Саша визжал страшно, тонко, противно:

— Не буду-у... Ведь я же сказал про скатерть... Ведь я сказал...

Спокойно, точно псалтирь¹ читая, дед говорил:

— Донос — не оправданье! Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть!

Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав:

— Лексея не дам! Не дам, изверг!

Она стала бить ногою в дверь, призывая:

— Варя, Варвара!..

Дед бросился к ней, сшиб её с ног, выхватил меня и понёс к лавке. Я бился в руках

¹ Псалтирь — часть Библии, книга псалмов.

у него, дёргал рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и наконец бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик:

— Привязывай! Убью!..

Помню белое лицо матери и её огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела:

— Папаша, не надо!.. Отдайте...

Дед засёк меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиной на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной, неугасимой лампадой в углу пред киотом со множеством икон.

Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспоконное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой.

Прежде всего меня очень поразила ссора бабушки с матерью: в тесноте комнаты бабушка, чёрная и большая, лезла на мать, заталкивая её в угол, к образам, и шипела:

— Ты что не отняла его, а?

— Испугалась я.

— Эдакая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я — старуха, да не боюсь! Стыдись!..

— Отстаньте, мамаша: тошно мне...

— Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту!

Мать сказала тяжело и громко:

— Я сама на всю жизнь сирота!

Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать говорила:

— Если бы не Алексей, ушла бы я, уехала! Не могу жить в аду этом, не могу, мамаша! Сил нет...

— Кровь ты моя, сердце моё, — шептала бабушка.

Я запомнил: мать — не сильная; она, как все, боится деда. Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было очень грустно. Вскоре мать действительно исчезла из дома. Уехала куда-то гостить.

Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка, сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лёд, рукою:

— Здравствуй, сударь... Да ты ответь, не сердись!.. Ну, что ли?..

Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался ещё более рыжим, чем был раньше; голова его беспокойно качалась; яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку си-него изюма, он положил всё это на подушку, к носу моему.

— Вот, видишь, я тебе гостинца принёс!

Нагнувшись, поцеловал меня в лоб; потом заговорил, тихо поглаживая голову мою ма-

ленькой, жёсткой рукою, окрашенной в жёлтый цвет, особенно заметный на кривых, птичьих ногтях.

— Я тебя тогда перетовó, брат. Разгорячился очень; укусил ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпел, — в зачёт пойдёт! Ты знай: когда свой, родной бьёт — это не обида, а наука! Чужому не давайся, а свой ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олёша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам Господь Бог глядел-плакал! А что вышло? Сирота, нищей матери сын, а вот дошёл до своего места, — старшиной цеховым сделан, начальник людям.

Привалившись ко мне сухим, складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжёлыми, складывая их одно с другим легко и ловко.

Его зелёные глаза ярко разгорелись, и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне:

— Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вёз, а я в молодости сам, своей силой супротив Волги баржи тянул. Баржа — по воде, я — по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугунок, кипит, а ты, согнувшись в три погибели, — косточки скрипят, — идёшь да идёшь, и пути не видать, глаза потом залило, а душа-то

плачется, а слеза-то катится, — эхма, Олёша, помалкивай! Идѣшь, идѣшь, да из лямки-то и вывалишься, мордой в землю — и тому рад; стало быть, вся сила чисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай! Вот как жили у бога на глазах, у милостивого господа Исуса Христа!.. Да так-то я трижды Волгу-мать вымерял: от Симбирского до Рыбинска, от Саратова досюдова да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки, — в этом многие тысячи вёрст! А на четвёртый год уж и водоливом¹ пошёл, — показал хозяину разум свой!..

Говорил он и — быстро, как облако, рос предо мною, превращаясь из маленького, сухого старичка в человека силы сказочной, — он один ведёт против реки огромную, серую баржу...

Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду; пел баском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и, весь удивительный, ещё более густо, крепко говорил:

— Ну, зато, Олёша, на привале, на отдыхе, летним вечером, в Жигулях, где-нибудь под зелёной горой поразложим, бывалоче, костры — кашницу варить, да как заведёт горевой² бурлак³ сердечную песню, да как всту-

¹ В о д о л и в — ответственный работник на барже.

² Г о р е в о й — несчастливый, многострадальный.

³ Б у р л а к — работник артели, которая тащила речные суда на верёвках против течения (*устар.*).

пится, грянет вся артель — аж мороз по коже дёрнет, и будто Волга вся быстрее пойдёт, — так бы, чай, конём и встала на дыбы, до самых облаков! И всякое горе — как пыль по ветру; до того люди запевались, что, бывало, и каша вон из котла бежит; тут кашевара по лбу половником надо бить: играй, как хошь, а дело помни!

Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил:

— Не уходи!

Он, усмехаясь, отмахивался от людей:

— Погодите, там...

Рассказывал он вплоть до вечера, и, когда ушёл, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слёз трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог.

Посещение деда широко открыло дверь для всех, и с утра до вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позабавить меня; помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще других бывала у меня бабушка; она и спала на одной кровати со мной; но самое яркое впечатление этих дней дал мне Цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую, шёлковую рубаху, плисовые¹ штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали

¹ П л и с — дешёвый сорт хлопчатобумажного бархата.

раскосые весёлые глаза под густыми бровями и белые зубы под чёрной полоской молодых усов, горела рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампы.

— Ты глянь-ка, — сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку, до локтя в красных рубцах, — вон как разнесло! Да ещё хуже было, зажило много! Чувешь ли: как вошёл дед в ярость, и вижу, заперет он тебя, так начал я руку эту подставлять, ждал — переломится прут, дедушка-то отойдёт за другим, а тебя и утащат бабаня али мать! Ну, прут не переломился, гибок, мочёный! А всё-таки тебе меньше попало, — видишь насколько? Я, брат, жуликоватый!..

Он засмеялся шёлковым, ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку, и, смеясь, говорил:

— Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую! Беда! А он хлещет...

Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про дела, сразу близкий мне, детски простой.

Я сказал ему, что очень люблю его, — он незабвенно просто ответил:

— Так ведь и я тебя тоже люблю, — за то и боль принял, за любовь! Али я стал бы за другого за кого? Наплевать мне...

Потом он учил меня тихонько, часто оглядываясь на дверь:

— Когда тебя вдругорядь сечь будут, ты, гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, — чу-

ешь? Вдвойне больней, когда тело сожмёшь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было — киселём лежи! И не надувайся, дыши вовсю, кричи благим матом, — ты это помни, это хорошо!

Я спросил:

— Разве ещё сечь будут?

— А как же? — спокойно сказал Цыганок. — Конечно, будут! Тебя, поди-ка, часто будут драть...

— За что?

— Уж дедушка сыщёт...

И снова озабоченно стал учить:

— Коли он сечёт с навеса, просто сверху кладёт лозу, — ну, тут лежи спокойно, мягко; а ежели он с оттяжкой сечёт, — ударит да к себе потянет лозину, чтобы кожу снять, — так и ты виляй телом к нему, за лозой, понимаешь? Это легче!

Подмигнув тёмным, косым глазом, он сказал:

— Я в этом деле умнее самого квартального!¹ У меня, брат, из кожи хоть голицы² шей!

Я смотрел на его весёлое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Ивана-царевича, про Иванушку-дурачка.

¹ Квартальный — в Российской империи полицейский офицер, следивший за порядком в определённом квартале.

² Голицы — толстые рукавицы из грубой кожи без подкладки.

Глава III

Когда я выздоровел, мне стало ясно, что Цыганок занимает в доме особенное место: дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нём, жмурясь и покачивая головою:

— Золотые руки у Иванка, дуй его горой! Помяните моё слово: не мал человек растёт!

Дядья тоже обращались с Цыганком ласково, дружески и никогда не «шутили» с ним, как с мастером Григорием, которому они почти каждый вечер устраивали что-нибудь обидное и злое: то нагрянут на огне ручки ножниц, то воткнут в сиденье его стула гвоздь вверх остриём или подложат, полуслепому, разноцветные куски материи, — он сошьёт их в одну «штуку», а дедушка ругает его за это.

Однажды, когда он спал после обеда в кухне на полатах, ему накрасили лицо фуксином, и долго он ходил смешной, страшный: из серой бороды тускло смотрят два круглых пятна очков, и уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык.

Они были неистощимы в таких выдумках, но мастер всё сносил молча, только кричал тихонько да, прежде чем дотронуться до утюга, ножниц, щипцов или напёрстка, обильно смачивал пальцы слюною. Это стало его привычкой; даже за обедом, перед тем как

взять нож или вилку, он муслил пальцы, возбуждая смех детей. Когда ему было больно, на его большом лице являлась волна морщин и, странно скользнув по лбу, приподняв брови, пропадала где-то на голом черепе.

Не помню, как относился дед к этим забавам сыновей, но бабушка грозила им кулаком и кричала:

— Бесстыжие рожи, злыдни!

Но и о Цыганке за глаза дядья говорили сердито, насмешливо, порицали его работу, ругали вором и лентяем.

Я спросил бабушку, отчего это.

Охотно и понятно, как всегда, она объяснила мне:

— А видишь ты, обоим хочется Ванюшку себе взять, когда у них свои-то мастерские будут, вот они друг перед другом и хают его: дескать, плохой работник! Это они врут, хитрят. А ещё боятся, что не пойдёт к ним Ванюшка, останется с дедом, а дед — своенравный, он и третью мастерскую с Иванкой завести может, — дядьям-то это невыгодно будет, понял?

Она тихонько засмеялась:

— Хитрят все, богу на смех! Ну, а дедушка хитрости эти видит да нарочно дразнит Яшу с Мишей: «Куплю, говорит, Ивану рекрутскую квитанцию, чтобы его в солдаты не забрали: мне он самому нужен!» А они сердятся, им этого не хочется, и денег жаль, — квитанция-то дорогая!

Теперь я снова жил с бабушкой, как на пароходе, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки или свою жизнь, тоже подобную сказке. А про деловую жизнь семьи — о выделе детей, о покупке дедом нового дома для себя — она говорила посмеиваясь, отчуждённо, как-то издали, точно соседка, а не вторая в доме по старшинству.

Я узнал от неё, что Цыганок — подкидыш; раннею весной, в дождливую ночь, его нашли у ворот дома на лавке.

— Лежит, в запон¹ обёрнут, — задумчиво и таинственно рассказывала бабушка, — еле попискивает, закоченел уж.

— А зачем подкидывают детей?

— Молока у матери нет, кормить нечем; вот она узнает, где недавно дитя родилось да померло, и подсунет туда своего-то.

Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя в потолок:

— Бедность всё, Олёша; такая бывает бедность, что и говорить нельзя! И считается, что незамужняя девица не смей родить, — стыдно-де! Дедушка хотел было Ванюшку-то в полицию нести, да я отговорила: возьмём, мол, себе; это бог нам послал в тех место, которые померли. Ведь у меня восемнадцать было рожено; кабы все жили — целая улица народу, восемнадцать-то домов! Я, гляди, на четырнадцатом году замуж отдана, а к пятнадцати

¹ Запóн — фартук, передник.

уж и родила; да вот полюбил Господь кровь мою, всё брал да и брал ребятишек моих в ангелы. И жалко мне, а и радостно!

Сидя на краю постели в одной рубахе, вся осыпанная чёрными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на медведицу, которую недавно приводил на двор борода-тый, лесной мужик из Сергача. Крестя снежно-белую, чистую грудь, она тихонько смеётся, колышется вся:

— Получше себе взял, похуже мне оставил. Очень я обрадовалась Иванке, — уж больно люблю вас, маленьких! Ну, и приняли его, окрестили, вот он и живёт, хорош. Я его вначале Жуком звала, — он, бывало, жужжал особенно, — совсем жук, ползает и жужжит на все горницы. Люби его — он простая душа!

Я и любил Ивана, и удивлялся ему до немоты.

По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всеобщей¹, в кухне начиналась неопишимо забавная жизнь: Цыганок доставал из-за печи чёрных тараканов, быстро делал нитяную упряжь, вырезывал из бумаги сани, и по жёлтому, чисто выскобленному столу разъезжала четвёрка вороных, а Иван, направляя их бег тонкой лучиной, возбуждённо визжал:

¹ В с е н о щ н а я — церковная служба, идущая поздно вечером.

— За архереем¹ поехали!

Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объяснял:

— Мешок забыли. Монах бежит, тащит!

Связывал ножки таракана ниткой; насекомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричал, прихлопывая ладонями:

— Дьячок из кабака к вечерней идёт!

Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собою длинные хвосты, смешно мигая чёрненькими бусинами бойких глаз. С мышами он обращался бережно, носил их за пазухой, кормил изо рта сахаром, целовал и говорил убедительно:

— Мышь — умный житель, ласковый, её домовой очень любит! Кто мышей кормит, тому и дед-домовик мирволит...

Он умел делать фокусы с картами, деньгами, кричал больше всех детей и почти ничем не отличался от них. Однажды дети, играя с ним в карты, оставили его «дураком» несколько раз кряду, — он очень опечалился, обиженно надул губы и бросил игру, а потом жаловался мне, шмыгая носом:

— Знаю я, они уговорились! Они перемигивались, карты совали друг другу под столом. Разве это игра? Жульничать я сам умею не хуже...

¹ Архере́й — (*искаж.*) архиерей, высший церковнослужитель в православии.